

ГЕНДЕРНЫЕ ПОЛИТИКИ:
ПУБЛИЧНОЕ КАК ПОЛИТИЗАЦИЯ ПРИВАТНОГО?

Альмира
Усманова

УТРАЧЕННАЯ ПРИВАТНОСТЬ:
«ТЕХНОЛОГИИ» ДЕПРИВАЦИИ В
СОВЕТСКОМ И ПОСТСОВЕТСКОМ
КОНТЕКСТАХ

«Большевизм отменил частную жизнь»
Вальтер Беньямин¹

«Интернет привел к тому, что мы добровольно
отказываемся от нашей приватности»
Умберто Эко²

11

Усманова

В контексте современных дискуссий о структурной трансформации публичной сферы³ многие исследователи обращают внимание на разнообразные симптомы ее угасания или

1 B. Walter. Moscow // P. Demetz (Ed.). *Reflections*. New York, 1978. P.108.

2 U. Eco. *Turning Back the Clock. Hot Wars and Media Populism*. Orlando, 2007. P. 82, 87.

3 Так называлась известная работа немецкого теоретика Юргена Хабермаса, вызвавшая широкую дискуссию о специфике публичной сферы в эпоху модерна и постмодерна (См.: J. Habermas. *The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Polity Press, 2006). Хабермас рассматривал публичную сферу как посредника между обществом и государством и полагал, что она (должна быть) основана на принципе объединения всех и любых индивидуумов вокруг областей, представляющих общий интерес, независимо от социального статуса, с целью достижения рационального консенсуса путем критического обсуждения.

исчезновения⁴. Так, деградация публичности и «публик» нередко рассматривается в контексте коллективного неучастия в политике, что, в свою очередь, является следствием такой конфигурации политического и медийного полей, при которой любая альтернативная политическая позиция оказывается маргинализованной и, в конечном счете, неэффективной. Граждане, имея через масс-медиа доступ к обсуждению общественных вопросов, на деле от этого обсуждения уstraняются, а сама возможность разделенного многими социальными группами «общественного интереса» выглядит более чем призрачной. Современные «публики» разнородны, сегментированы и разделены; публичная сфера в значительной степени определяется логикой и политэкономией медийного поля и рынка, и, в лучшем случае, может быть помыслена как совокупность непересекающихся микропространств, каковыми являются ЖЖ («Живой журнал»), блоги, форумы, домашние сети и пр.

Понятие «публичной сферы» разрабатывал немецкий философ Юрген Хабермас. Критики Хабермаса, хотя и признают продуктивность «публичной сферы», как регулятивной идеи или «полезной категории» социального анализа, полагают, что концепция публичности и осуществленная им реконструкция истории формирования и функционирования публичной сферы в демократическом обществе оставили за рамками анализа тех, кто был фактически «исключен» из сферы публичного обсуждения общественного блага. Так, Оскар Негт и Александр Клюге описывают буржуазную публичную сферу как не соответствующий реальности идеал, исключаящий рабочий класс, женщин, детей — все те группы, которые не способны в полной мере участвовать в

4 Как пишет Брюс Роббинс, «список работ, которые объявляют об упадке, деградации, кризисе или исчезновении публичной сферы, обширен и продолжает стремительно увеличиваться. Публичность, как нам говорят снова и снова, и снова, — это то, что у нас некогда было и что затем мы утратили, а теперь нам нужно это каким-то образом вернуть» (B. Robbins (Ed.). *The Phantom Public Sphere*. Minneapolis, 1993. P. viii). Здесь важно отметить, что концепция «публичной сферы» (*Öffentlichkeit*) была сформулирована Хабермасом еще в 1962 г., однако первый английский перевод этой книги Хабермаса появился лишь в 1989 г. — в момент, когда пала Берлинская стена, и полемика с Хабермасом, таким образом, опоздала, как минимум, на четверть века, в результате чего, как мне представляется, и критика концепции буржуазной публичной сферы, разворачивающаяся каждый раз из исторического «теперь», оказывается в каком-то смысле бьющей мимо цели.

процессе общественного консенсуса⁵. Нэнси Фрэйжер детально обсуждает вопрос о том, почему «единая публичная сфера» предпочтительнее, чем признание множественности разнообразных интересов и, соответственно, множества (альтернативных или контр-) публичных сфер, и кому это выгодно⁶. Характерно, что в этом смысле Хабермас оказывается «в ловушке» собственного дискурса, коль скоро его представление о единстве публичной сферы по сути означает отказ учитывать реально существующее неравенство, а такое положение дел, как правило, выгодно для доминантных групп и невыгодно для угнетенных и исключенных. Наличие множества «подчиненных контрпубличных сфер» (*subaltern counter publics*), создаваемых различными общественными группами, является следствием социального неравенства (которое, разумеется, невозможно устранить лишь путем исключения этой проблемы из публичной дискуссии), «поскольку политически маргинализованные социальные группы (женщины, рабочие, люди иной расы и сексуальные меньшинства) не имеют возможности обсуждать свои нужды, цели и стратегии в рамках общей, всеобъемлющей и единой публичной сферы»⁷.

С точки зрения феминистских теоретиков, публичная сфера была изначально структурирована как мужское пространство, а женщины, как правило, из участия в общественном диалоге были практически полностью исключены⁸. Как отмечает Мэри Хоуксуорт, «публичность» изначально была «гендерно» обусловленным понятием⁹, которое позволяло

5 См.: O. Negt, A. Kluge. *Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere*. Minneapolis, 1993. P. 10. В немецком оригинале книга была впервые опубликована в 1972 г. (O. Negt, A. Kluge. *Öffentlichkeit und Erfahrung – Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit*. Frankfurt/M., 1972).

6 См.: N. Fraser. Politics, Culture, and the Public Sphere: Toward a post-modern conception // L. J. Nicholson and S. Seidman (Eds.). *Social Postmodernism: Beyond Identity Politics*. Cambridge, UK, 1995.

7 Э. Шмидт, К. Тойбенер. Российский Интернет как (альтернативная) публичная сфера? // *Control + Shift. Публичное и личное в русском Интернете*. Ред. Н. Коирадова, К. Тойбенер, Э. Шмидт. Москва, 2009. С. 122.

8 Сегодня, благодаря новым способам коммуникации, женщины, напротив, оказываются достаточно активными участниками публичной дискуссии; правда, на определенной «территории», ограниченной, например, пространством собственного блога в Интернете, что соответствует представлению Нэнси Фрэйжер о существовании множества (контр)публичных сфер в постмодернистском обществе.

9 См. подробнее: М. Хоуксуорт. Гендер и публичная сфера: западная генеалогия // *Ab Imperio*. 2007. №1. С. 329–354.

скрывать операции власти, коль скоро публичная жизнь оказывалась по сути прерогативой мужчин, а частная — «естественным доменом» женского существования.

Более того — и в контексте данной статьи это имеет решающее значение — сама дихотомия *публичного-приватного* является продуктом патриархального дискурса (генеалогия этого разграничения восходит к политической философии древних греков): можно привести немало исторических примеров тому, как совершенно определенные интересы и проблемы объявлялись буржуазной маскулинистской идеологией «частными», и потому «не подлежащими публичному обсуждению». Стоит также добавить, что вопрос о соотношении частного и публичного — это не абстрактно-теоретический вопрос, локализованный в пространстве философских размышлений (хотя последние имплицитно обуславливают многие современные политические, юридические и экономические дискурсы), это вопрос — политический, то или иное решение которого достаточно рельефно разграничивает, например, идеологические позиции политических партий и влияет на социальную и экономическую политику в любом обществе¹⁰.

В русле обсуждений деградации публичной сферы и, следуя бинарной логике самой дихотомии «публичное-приватное», мы, вероятно, должны были бы также задаться вопросом и о том, что происходит со сферой частного, какие трансформации (дискурсивные и социальные) претерпевает понятие «частной жизни», что вообще представляет

¹⁰ В этом смысле «реанимация» буржуазной публичной сферы означала бы также и возвращение женщин в замкнутое и контролируемое государством и церковью пространство дома, что выглядит как уходящий с исторической сцены патриархальный пережиток. Между тем, некоторые политики, защищая христианскую мораль и националистические идеи (и в Беларуси, и в России, и в Украине), всерьез и даже довольно агрессивно пытаются отстоять сегодня эту позицию, убеждая электорат в том, что то, что происходит за дверьми дома, это «тайнство» брака. При этом предполагается, что вне брака этого «тайнства» быть не может и не должно. Противоречие заключается в том, что при этом обсуждается тема запрета на аборт, которые, в соответствии с логикой этих рассуждений, как будто бы должны быть «приватным делом» индивидов, укрывающихся «за этими дверями» в своем частном пространстве от «ока» государства и вмешательства политиков. Мне представляется, что отставание неприкосновенности «приватного» в политическом аспекте является не просто лицемерным жестом, цель которого сделать вид, что право на личную жизнь индивидов — неприкосновенно, но, в общем-то, и весьма хитрой уловкой, имеющей на самом деле серьезные последствия для каждого из нас. Не только Советская власть, но и любое государство множеством разнообразных механизмов регулирует и контролирует сферу, которая якобы отделена от государственного вмешательства.

собой «приватность» сегодня? В этом вопрошании мы можем зайти достаточно далеко. Настолько далеко, чтобы спросить: как работает эта концептуальная «пара» сегодня? Иначе говоря, исследуя модусы и механизмы функционирования частного и публичного сегодня, мы должны задуматься и о том, насколько эвристичным и продуктивным является в современных условиях сам способ подобной концептуализации.

Вопрос о том, чем была и во что превратилась сегодня «приватность» (как антитеза публичности), является слишком глобальным и не может быть решен в рамках одной отдельной статьи, более того, подобное исследование требовало бы и социологического анализа, и исторической реконструкции, однако я попытаюсь соотнести и проблематизировать контексты обсуждений этой проблемы, которые происходят, как правило, на разных и весьма удаленных друг от друга «площадках» (я имею в виду социально-философские теории частного и публичного, исследования советской культуры¹¹) и, наконец, дискуссии о социальных эффектах развития дигитальных технологий и новых медиа.

Более конкретно вопрос может быть переформулирован так: каким образом память о советской культуре как о культуре «бездомных» индивидов (и в буквальном и переносном значении), в которой частное и публичное имели совершенно другой смысл и другую топологию, нежели в буржуазном обществе, актуализируется в новой культурной ситуации, главный парадокс которой состоит в следующем. С одной стороны, установление посткоммунистических политических режимов может рассматриваться как эпоха торжества частных интересов, крайнего индивидуализма и социальной атомизации. Культивирование идеи неприкосновенности частной собственности, принципов рыночной экономики и идеологии либеральной демократии должны были способствовать реализации идеала полноценной частной жизни. Период «стихийного капитализма» начала 1990-х гг. запомнился не в последнюю очередь тем, что это был период, когда бывшие советские

¹¹ Хотелось бы, однако, отметить, что изучение советской культуры и теоретические подходы к проблеме частного и публичного нередко «сходятся» на общей территории — гендерных исследований и феминистской критики.

граждане неожиданно оказались предоставлены «самим себе», а государство перестало интересоваться их частной жизнью до такой степени, что вместе с этим растущим «безразличием» ушли в никуда и те социальные гарантии, которые Советское государство предоставляло своим гражданам в обмен на их верность коммунистическим идеалам. С другой стороны, стремительно разворачивавшаяся на наших глазах технологическая «революция» (включая распространение Интернета и дигитальных медиа) привела к радикальному изменению форм социальной коммуникации, незаметным образом сломав хрупкие перегородки между приватным и публичным. Здесь, правда, следует заметить, что в установлении нового режима «видимости» телеология новых медиа и конечные цели демократии совершенно совпадают: все оказывается публичным, открытым для обсуждения (и контроля одновременно). Парадоксальным в этой ситуации оказывается то, что именно по причине стирания (а точнее, переопределения) границ между приватным и публичным мы диагностируем коллапс публичности и деградацию публичной сферы как таковой. Наличие границы между приватным и публичным являлось необходимым условием для существования раннемодернистских демократий и для сохранения буржуазного статус-кво в сфере классовых и гендерных отношений, что, в свою очередь, предопределяло ответ на вопрос о том, чьей прерогативой является определение «общественного блага», что такое «общественные интересы» и, наконец, кто может представлять интересы в публичной сфере, а чей удел — не «высовываться» из сферы приватного. Но если приватное всецело поглощено публичным (или наоборот?), тогда было бы важно понять, как демократия может существовать в условиях, когда этой границы больше не существует...

Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что меня здесь интересует не столько жизнеспособность (либерально-) демократических режимов в условиях размывания границы между публичным и приватным, а скорее, вопрос о том, каким образом новая культурная ситуация может изменить наши представления о недавнем прошлом. В какой-то мере это также и вопрос об оценочной шкале, используемой в

политической риторике критиков левой идеи. Насколько убедительна критика советской культуры, краеугольным камнем которой является упрек в разрушении приватной сферы, в эпоху, когда само понятие «приватности» утратило свой первоначальный смысл? И в дополнение к этому — можно ли утверждать, что триумфально быстрое развитие новых технологий в постсоветском пространстве стало возможным еще и потому, что бывшие советские граждане оказались более адаптируемыми к этому новому режиму «транспарентности»...

Таким образом, в рамках данной статьи будут рассмотрены две тесно связанные друг с другом проблемы: во-первых, как трансформировалось наше представление о приватном (и о самой дихотомии «публичное–приватное») в эпоху новых медиа, породивших новые режимы видимости и транспарентности; во-вторых, как эта трансформация может быть соотнесена с проблемой нехватки приватности в советской культуре и попытками ее обретения в постсоветский период.

Для начала я попробую определить, что я имею в виду под «приватностью» и под «технологиями депривации», однако в ходе моих размышлений эти «рабочие определения» будут проблематизированы.

Начнем с проблемы определения «приватности». Современные исследователи, занимающиеся этим вопросом, подчеркивают, что невозможно дать некоторое универсальное определение, которое подходило бы для каждой социальной группы или для любого социально-экономического порядка: границы приватной сферы являются «переговорными», проницаемыми для внешнего мира, однако, если попытаться зафиксировать некоторые общепринятые значения, приписываемые этой сфере, то получится следующее: приватное — «это сфера удовлетворения индивидуальных интересов», «сфера интимного», пространство личной автономии. Приватность является (или являлась) «укрытием, которое пространственно и темпорально ограждает индивида и семью от внешнего мира — от публичности, государства и рынка»¹²,

12 Е. Здравомыслова, А. Роткирх, А. Темкина. Создание приватности как сферы заботы, любви и наемного труда // *Новый быт в современной России. Гендерные исследования повседневности*. Ред. Е. Здравомыслова, А. Роткирх, А. Темкиной. Санкт-Петербург, 2009. С. 9–10.

(несколько позже мы рассмотрим, в какой степени развитие новых технологий способно защитить нас от «публичности, государства и рынка»). Сфера приватности — это сфера домашнего мира, сфера отношений с «пониманием без слов», это мир доверия, где личность может проявляться в своеобразии вкусов и стилей потребления... Этот мир ассоциируется с уютом, комфортом, добровольным выбором»¹³.

К этому я бы также добавила, что коль скоро сфера публичного ассоциируется с активностью и видимостью, то сфера «приватного» может быть представлена как сфера «безучастности» (то есть пассивности и отдыха) и уединенности (а значит, и невидимости, неподотчетности). В этой связи имеет смысл обратиться и к более ранним определениям приватности, которые, вообще говоря, сформировались в рамках юридической практики: в частности, классическим считается определение, данное в конце XIX в. Самюэлем Уорреном (Samuel Warren) и Луисом Брандейсом (Louis Brandeis) в их известной работе «The Right to Privacy», которое гласит: «приватность — это право индивидов быть наедине с самими собой»¹⁴.

С точки зрения сегодняшних реалий этот тезис звучит как чрезвычайно проблематичное утверждение. Кстати, Брандейс, в русле своих размышлений о праве человека «на одиночество», пришел позднее к выводу, что «прогресс науки в обеспечении правительства средствами шпионажа скорее всего не остановится на практике подслушивания телефонных разговоров»¹⁵, однако вряд ли он мог себе представить, как далеко могут зайти технологии слежения за наиболее интимными сторонами жизни каждого из нас. В таком же духе можно вспомнить и том, что в 1948 г. (помимо всего прочего, это также год изобретения транзисторов) ООН провозгласил, что одно из прав человека состоит в том, что «никто не должен быть объектом произвольного вторжения в его приватную сферу, жилище и личную переписку»¹⁶.

13 Там же. С.11.

14 S. Warren, L. D. Brandeis. The Right To Privacy. Originally published in *4 Harvard Law Review* 193 (1890). Полная версия этого текста доступна по адресу: www.groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html (посещение 27.11.13.).

15 Цит. по: D. Lyon. *The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society*. Minneapolis, 1994. P.14.

16 «No one shall be subject to arbitrary interference in his privacy, home or correspondence».

Слово «произвольный», кстати, открыто любым интерпретациям, поскольку вопрос состоит в том, а кто, собственно говоря, решает, что именно следует квалифицировать как «произвольное вторжение» или как непроизвольное — то есть «законное». Забегая вперед, можно сказать, что, как правило, это определяется государством, и в большинстве случаев решения вполне могут быть произвольными в зависимости от ситуации. К тому же, говоря о современных коммуникативных технологиях, надо иметь в виду, что во многих странах разрешено все то, что не запрещено, и бизнес активно пользуется и юридическими «лазейками», и самими технологиями добывания информации. Известно много случаев, когда рассекречивались и затем «продавались» данные об абонентах телефонных компаний, банков или потребителях каких-либо других сервисов только потому, что не было никаких механизмов регуляции, ограничивавших «продажу» личных данных другим компаниям, или же в силу доступности технологических средств сами эти механизмы оказывались практически не работающими. Нет нужды говорить и о том, что государство (точнее, спецслужбы) само пользовалось — и неоднократно — такой возможностью, а затем всегда обращивало это в свою пользу¹⁷.

Далее, что имеется в виду под технологиями депривации? «Технология»¹⁸ понимается как совокупность методов и инструментов для достижения поставленных целей. Технология включает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми материалами. Собственно говоря, связь с техническими средствами в определении этого термина про-

17 Вот совсем свежий пример — дело адвоката Бориса Кузнецова в России: его объявили в международный розыск, поскольку он обвиняется в разглашении государственной тайны (как сообщил портал «Полит.ру»). Но что является предметом «государственной тайны»? Он рассекретил то, что телефонные переговоры сенатора Чачмачяна, его подзащитного, начали прослушиваться до того, как органы получили санкцию суда. То есть он рассекретил обычную практику спецслужб, и за это «правонарушение» Россия теперь требует у Америки его выдачи. Правда, теперь, как пишет Виктор Шендерович, адвокаты самого Кузнецова «предлагают привлечь следователя, который ведет его дело, потому что, передав документы в суд, он точно также рассекретил все то же самое. И уже какие-то девчонки-практикантки в суде все это прочитали!» (См.: *Европа-экспресс*. № 21 (585). 18.05.2009. С.13).

18 От греч. *téchne* (τέχνη) — искусство, мастерство, умение; *logos* (λόγος) — помимо прочих значений, «разумное основание», «определение».

изошла достаточно поздно — лишь в XVIII в., но с тех пор мы отдаем предпочтение именно этой ассоциации: применение некоей технологии априори предполагает использование техники, то есть определенных инструментов производства. «Депривация» (deprivation) означает «лишение», «утрата», отчуждение (собственности) и т. п. В данном контексте я полагаю возможным говорить о депривации, как утрате (или насильственном лишении) права на интимность (уединение) и приватную жизнь (другой вопрос — влечет ли за собой утрата приватности расширение доступа к публичной жизни). Соответственно, говоря о «технологиях» депривации, я имею в виду характерный для той или иной социальной системы набор легитимных техник и инструментов, применяемых для ограничения или контроля за теми практиками, которые в данном обществе маркируются как «приватные».

Итак, обратимся сначала к «технологиям депривации», которые мы обнаруживаем в советской культуре, а затем попробуем выяснить, как эти «технологии» работают в сегодняшней культурной ситуации.

Травматическое ядро идентичности постсоветского человека — это память о насилии и лишении: насилии со стороны коллектива и государства, лишении — как нехватки самого необходимого. Негативная память о «советском» (оставим пока в стороне эстетические коннотации) сопряжена с воспоминаниями о системно организованном идеологическом насилии, о сталинском терроре с миллионами жертв и разрушенными семейными связями, о тотальном товарном дефиците, о бытовом унижении (во всех его многообразных проявлениях), о символических иерархиях в «бесклассовом» обществе и многом другом.

Приведенная в эпиграфе цитата Вальтера Беньямина, посетившего Советскую Россию в 1927 г., о том, что «большевики отменили частную жизнь»¹⁹, звучит как приговор идее социалистического переустройства «быта» и отно-

¹⁹ Следует иметь в виду, что советская власть различала понятия частная жизнь и личная жизнь, при этом частная жизнь — как отгороженная от общественного контроля сфера — идеологически рассматривалась как вредное явление, однако «личная жизнь» — как сфера семейных отношений, которая находилась в ведении государственных институтов, в официальном дискурсе 1930-х гг. была легитимирована (См. подробнее: O. Figes. *The Whisperers. Private Life in Stalin's Russia*. Metropolitan Books, 2007. P. 160.).

шений между людьми в стране, поставившей перед собой цель построения общества будущего и создания условий для «гармоничного развития личности». Фраза Беньямина сегодня может интерпретироваться по-разному (особенно с учетом исторических исследований Советской культуры 1920-х гг., позволяющих увидеть, каким образом вопросы частной жизни выносились на публичное обсуждение и как в этом вопросе переплетались дискурсы о «новом человеке», о женской эмансипации, о «революции быта» и пр.²⁰), но здесь, возможно, имело бы смысл несколько прояснить ту точку зрения стороннего наблюдателя, с позиции которого эта мысль была высказана, поскольку это позволило бы нам понять, почему именно разрушение приватности (в ее буржуазном понимании) стало камнем преткновения среди интеллектуалов, которые в общем и целом симпатизировали и советской власти, и левой идее, но были солидарны в том, что именно в этом отношении Советская власть потерпела свое главное фиаско.

Практически все западные интеллектуалы, посещавшие Советскую Россию (и затем СССР) в разное время (1920–1950-е гг.) — и Беньямин, и Лион Фейхтвангер, и Андре Жид, и Рене Этьембль, и многие другие — более всего были шокированы именно тем, что все привычные буржуазные нормы частной жизни оказались в СССР фактически не существующими (и это при том, что, будучи иностранными туристами и приезжая часто с официальными делегациями, они могли преимущественно видеть лишь «витрину» социализма). И в пересмотре их политических взглядов этот факт имел необратимое значение²¹. Утопия в ее материальном воплощении испугала европейских интеллектуалов не столько своими экономическими или политическими экспериментами (напротив, все они верили в то, что только рациональное планирование может спасти мир от катастрофы),

20 См., например, известное исследование Эрика Наймана: E. Naiman. *Sex in Public. The Incarnation of Early Soviet Ideology*. Princeton, 1999.

21 В качестве примеров можно привести здесь несколько текстов, написанных в жанре «путевых заметок» или «дневников», в которых европейские интеллектуалы задокументировали свой опыт посещения СССР: В. Беньямин. *Московский дневник* (Ad Marginem, 1997); L. Feuchtwanger. *Moskau 1937: Ein Reisebericht für meine Freunde* (Amsterdam, 1937); A. Gide. *Retour de l'U.R.S.S.* (Paris, 1936); R. Etiemble. *Le meurtre du petit père: naissance à la politique* (Paris, 1989). Тексты Фейхтвангера и Жида были также переведены и опубликованы на русском языке, но значительно позже (в 1990-х гг.).

сколько тем, что социализм так «надругался» над приватной сферой. Дело революции требовало полного поглощения или растворения частного в публичном, не оставляя никакого места для любви и интимности, как они считали. Так Андре Жид отмечал, что люди, которые спят в коммунальных квартирах или общежитиях, страдают от промискуитетности и невозможности уединения. Удивительным для него было всеобщее чувство социального оптимизма, вопреки тому, что действительность была далека от тех идеалов, на которых социальный оптимизм базировался. Он задавался вопросом о том, можно ли рассматривать эту тенденцию утраты индивидуальной свободы как (при)знак социального прогресса?²²

Я не ставлю перед собой задачу исчерпывающего рассмотрения «технологий депривации» в советской культуре, поскольку в рамках отдельной статьи это вряд ли возможно, однако я попробую перечислить те приемы, которые, на мой взгляд, могут быть отнесены к подобным технологиям и указать основной принцип, лежавший в основе их эффективности. Следует сразу сказать, что используемый Советской властью арсенал методов и техник «депривации» был вполне традиционен (еще во времена инквизиции были опробованы различные способы вторжения в сферу частного, и инквизиция знала, что нужно наладить слежение за мыслью индивида, а не только за его собственностью²³). Советская власть могла быть всего лишь более изобретательной или же более радикальной в способах их применения, и слово «технологии» здесь применимо скорее в смысле «социальных технологий», и чуть позже попробуем соотнести их с теми технологиями, которые стали частью нашей повседневной жизни сегодня.

Итак, что это были за приемы и методы контроля и регулирования как индивидуальных тел, так и мыслей советских граждан?

22 Это был один из основных, практически непереносимых, вопросов для левых интеллектуалов первой половины XX в. Разочарование в левой идее и, как следствие, выбор в пользу некоммунистического будущего (для них самих, равно как и для Европы в целом) началось именно с этой точки отсчета — увиденного ими в СССР разрушения частной сферы.

23 См.: U. Eco. *Turning Back the Clock. Hot Wars and Media Populism...* P. 79.

Ограничение физического пространства. «Периметр безопасности» есть у каждого животного, не говоря уж о людях. Он может варьировать от одной культуры к другой, но он есть у всех. При этом то, что в одной культуре рассматривается как проявление дружелюбия и теплых чувств, в другой будет воспринято как агрессия и вторжение на свою территорию. Подобными «периметрами» огорожена вся социальная жизнь человека, как только он становится частью некоего сообщества. Умберто Эко рассматривает это как своего рода коллективный «периметр», как способ коллективной защиты индивидуальной безопасности²⁴.

Формы посягательств (вплоть до полного разрушения) на индивидуальный «периметр безопасности», характерные для советского образа жизни, оставили многочисленные зарубки в нашей памяти, включая «память тела». Перечислю некоторые из этих форм, но подчеркну, что далеко не все из них являются know how Советской власти²⁵, скорее они были порождены индустриализацией и урбанизацией, обусловившими образ жизни рабочего класса, на который наложились идеологические запросы и экономические трудности: нехватка физического пространства для индивидуальных тел — в силу коммунального образа жизни, привычка к нахождению в местах большой скученности людей (от митингов и собраний до стояния в очередях), гигиенические нормы советского быта (до хрущевской жилищной нормы люди преимущественно мылись в банях, не имея собственных ванных комнат), туалеты — и вовсе особая тема²⁶; пространственная организация рабочих мест и общественного транспорта, товарный дефицит, который сделал жизнь в очередях «нор-

24 Ibid. P. 76–77.

25 Я позволю себе оставить в стороне вопрос о том, каким образом политическая программа эмансипации приватной сферы, сформулированная в марксистской мысли, породила весьма специфические бытовые практики: ни Маркс, ни Ленин не имели в виду, что социалистическая утопия найдет свое наиболее яркое воплощение в коммунальном образе жизни и отрицании всего того, что для них самих было «естественным» порядком вещей.

26 Устройство публичных туалетов во многих общественных учреждениях (университеты, заводы или школы) предполагало максимальный режим видимости: кабинки в туалетах закрывались дверьми, позволявшими видеть ноги и голову человека, отправлявшего свои физиологические потребности практически на виду у остальных. Или можно вспомнить о стройных рядах умывальников в пионерских лагерях, армии или рабочих общежитиях, где все дружно чистили зубы и мыли ноги практически синхронно и плечом к плечу...

мой» жизни советского человека и т.д. Мы и сегодня можем опознать следы этой телесной привычки в таких бытовых практиках, как привычка «дышать» друг другу в затылок, стоя на автобусной остановке, в магазине, банке или при прохождении паспортного контроля в аэропорту. Лишь в начале 1990-х гг. это нарушение «периметра безопасности» стало восприниматься как аномалия.

Наиболее радикальным выражением этой практики «депривации» является, безусловно, феномен тюремной и лагерной изоляции, который превращал человека в «вещь», которую лишь нужно как-то приспособить к имеющемуся ограниченному пространству. Тюрма в этом смысле является величайшим насилием: несмотря на формально закрепленные за каждым заключенным метры, на самом деле они никогда не соблюдаются, периметр безопасности здесь в принципе не существует, и это хуже, чем превращение человека в животное, он действительно становится просто «вещью»²⁷. Очевидно, что лишение заключенных достаточного физического пространства остается очень значимым элементом всей системы надзора и дисциплинации, так что говорить о минимальном телесном комфорте здесь неуместно, это входило бы в противоречие с самими принципами изоляции и наказания.

Жилищная политика советского государства тесно связана с вышеописанными механизмами ограничения физического пространства для индивидуальной жизни: в первую очередь я имею в виду распространенность и массовость коммунальных квартир и общежитий²⁸. Как писал Вальтер Беньямин, помещения были отчуждены от советских людей их образом жизни («они проводят время на работе, в клубе, на улице»²⁹). Память об этой «нехватке» живет в сохранившейся по сей день привычке оценивать размеры квартиры по наличию квадратных метров (а не количеству спальных комнат, например). К слову, антропологи и со-

27 Поразительное описание «вагон-заков» дает Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ», описывая следование по этапу заключенных, многие из которых не добирались до места назначения, поскольку в течение нескольких дней, если не недель, они должны были находиться по 35 человек в одном «купе».

28 См. подробнее: Н. Б. Лебина, А. Н. Чистяков. *Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан*. Санкт-Петербург, 2003.

29 В. Беньямин. *Московский дневник*. Москва, 1997. С.39.

циологи используют термин «deprivation societies» для описания «культур бедности» с точки зрения присущих им представлений об ограниченности возможных ресурсов (благ), а российский исследователь Илья Утехин использует этот термин для анализа «коммунального мировосприятия» обитателей коммунальных квартир³⁰.

Подглядывание, нередко с целью доноительства, что логически вытекает из всего вышесказанного относительно нехватки физического пространства в частной сфере (во многих случаях было невозможно устраниваться от «соглядатайства»: находясь в рабочем бараке вместе с тридцатью другими людьми, а тем более находясь в постоянном близком контакте с тремя-четырьмя, вы волей-неволей знаете о них практически все).

Перлюстрация (и цензура), и не только в случае писем с фронта или из мест заключения, что, естественно, означало нарушение права на тайну переписки.

Политический контроль за подчинением индивидов коллективу: в форме товарищеских судов и партийно-профсоюзно-комсомольских собраний. Ведь именно здесь вопросы «половой морали» и других аспектов частной жизни советских граждан становились предметом всеобщего обсуждения и неременного порицания. Кстати, и эта особенность социальной коммуникации бросилась в глаза Вальтеру Беньямину: в письме к Юлии Радт он писал, что в Советской России публичной жизни немедленно придавался «почти телеологический характер», практически все могло стать делом общественной значимости³¹).

Биовласть: способы регуляции сексуальности и контроля за женскими и мужскими телами. Тема эта слишком обширна и сложна для рассмотрения в рамках данной статьи (тем более, что этой темой занимались многие исследователи), отмечу лишь, что организация системы здравоохранения, медицинского и санитарного контроля в СССР, равно как и повышенное внимание государства к стандартам гигиены и образу жизни своих граждан, хоть и воспринимаются нами

30 И. Утехин. *Очерки коммунального быта*. Москва, 2001. С. 46–47; см. также: G. Foster. The Anatomy of Envy // *Current Anthropology*. 1972. Vol. 13.2. P. 165–202.

31 W. Benjamin. To Julia Radt // *The Correspondence of Walter Benjamin*. Chicago, 1994. P. 310.

как репрессивные механизмы, тем не менее, в исторической перспективе, с точки зрения модернизации всего уклада жизни, имели позитивный смысл.

Устранение «приватной сферы» из дискурса: быт и частная сфера в целом рассматривались Советской властью как основное препятствие на пути к реализации коммунистических идеалов. Однако, говоря об устранении этой темы из дискурса, я имею в виду, прежде всего, вытеснение вопросов сексуальности, телесности, эротики и т. п., но не семьи, воспитания, организации досуга, потребления и пр. аспектов приватной жизни. Советская культура в целом была культурой весьма пуританского (и часто ханжеского) отношения к сфере интимных отношений. Негласные табу на публичное обсуждение этих вопросов (начиная с конца 1920-х гг.) образовали зияющую дыру в лексиконе советских людей, не способных даже на приеме у врача сообщить что-либо внятное «про это»³². Не случайно, что в постсоветское время большинство терминов, касающихся интимной сферы — от мастурбации и репродукции до эксгибиционизма, — были нами заимствованы из английского языка.

Однако речь тут, видимо, должна идти не только о языке (будь то официальные партийные документы или правовые установления, или газетные статьи), а о *нехватке репрезентаций частной жизни* в более широком аспекте. Частная жизнь не только была устранена из политической программы большевизма, ее маргинальный статус в социальной утопии привел к тому, что она стала «невидимой». Что, впрочем, вполне естественно: нехватка приватности в реальной жизни и идеологическая повестка дня коррелируют с лакунами в визуальных репрезентациях быта и интимных отношений (будь то плакаты, живопись или кинематограф).

Но именно здесь и кроется главный парадокс, один из ключевых вопросов данной статьи — в какой степени приватная сфера вообще может (или должна) быть «видимой»? Коль скоро ее «видимость», возможность ее репрезентации фактически означает ее разрушение, ведь в этом случае она становится пронизываемой, открытой для публичного обсуждения, она открывается Взгляду Другого.

32 «Об этом» см. подробнее: M. Stern, A. Stern. *Sex in the USSR*. New York, 1980.

Соответственно, анализ приватного и публичного может быть переведен в регистр обсуждения дихотомии «видимого» и «невидимого»: публичным является все то, что открыто и доступно (немецкий термин *Öffentlichkeit* для обозначения «публичности» содержит в себе это значение), а «приватным» является то, что можно и нужно оставить в зоне невидимости и непрозрачности. То есть, основой разрушения приватного является ее «раскрытие» для других. В этом смысле можно сказать, что при Советской власти «невидимость» частной и интимной жизни, ее устранение из репрезентации в каком-то смысле являлось гарантией ее «неприкосновенности», хотя и на ничтожно малой территории (пресловутый «периметр безопасности», на практике означавший нередко всего лишь угол в коммунальном жилище, отгороженный занавесочкой), при этом, как уже отмечалось выше, все, что оказывалось втянутым в воронку публичности, оказывалось немедленно видимым: открытым до неприличия, если не сказать больше — до порнографичности.

Можем ли мы обнаружить в современной культуре какие-либо из «технологий депривации», уже обсуждавшиеся нами выше, и в какой форме они сегодня реализуются?

Подсматривание и подслушивание: возможности удовлетворения вуайеристских потребностей сегодня велики и чрезвычайно разнообразны (от веб-камеры до YouTube, от камер наблюдения до разнообразных способов прослушивания), и затронули даже производство детских игрушек. При этом речь может идти как об удовлетворении собственного любопытства без каких-либо специальных целей, так и об использовании этой информации для достижения различных политических, экономических и прочих целей. Главное же отличие состоит в том, что изменились способы слежки и надзора — они становятся все более опосредованными с помощью технологий (даже такие практики, как face-control, основаны сегодня на применении сложных систем, включающих в себя и мобильную связь, и видеокамеры, и компьютеры).

Перлюстрация (и цензура). Начнем с того, что как таковая эпистолярная культура существенно изменилась с приходом мобильных телефонов и электронной почты (люди

не пишут друг другу записки или письма, но посылают SMS или сообщения в Скайп-чате); позвонить сегодня легче, чем написать, а SMS отправить дешевле, чем позвонить и т. д. Но именно с переходом на электронные средства коммуникации возможности доступа и контроля за всеми видами переписки стали намного более эффективными. Более того, многие из этих средств являются абсолютно легальными и в этическом смысле вполне приемлемыми³³.

Контроль за подчинением индивидов коллективу. Разумеется, формы контроля по-прежнему существуют, но не со стороны рабочего или учебного коллектива, а со стороны заинтересованных в нас как потребителей «корпорациях». Товарищеские суды (и партийно-профсоюзно-комсомольские собрания) ушли в прошлое, а коммуникация лицом-к-лицу утратила свое прежнее значение. Однако роль государства по надзору за частными практиками индивидов (к которым сегодня относится не только, например, использование детской порнографии, но и создание пиратских копий DVD у себя дома) повсеместно усилилась, а частный бизнес (особенно в больших корпорациях) вообще немислим без выстраивания системы контроля за своими служащими, которые должны демонстрировать лояльность фирме даже, наверное, во сне.

«Периметр безопасности». В смысле физического пространства наш периметр безопасности выглядит сегодня гораздо более внушительным. Наши тела, несомненно, получили больше свободы (и в приватном, и в публичном пространствах), но ведь периметр безопасности — это понятие и пространственное, и психологическое, поскольку достаточное физическое пространство и сохранение дистанции по отношению к другим необходимо нам для ощущения психологической защищенности. Можно высказать предположение о том, что периметр безопасности сегодня в меньшей степени определяется физической дистанцией, и в большей — степенью поднадзорности (каждого из нас можно увидеть и из космоса), но именно в силу его виртуализации мы не замечаем, что физическая пустота вокруг наших тел больше не является гарантом нашей безопасности.

³³ Например, сервис *Readnotify.com* позволяет любому из нас узнать, было ли прочитано наше письмо адресатом, которому мы послали сообщение, если он по каким-то причинам нам не ответил.

Жилье. Как и прежде, мы склонны рассматривать стены своего дома, как нашу «крепость», как самый главный способ защиты от бурь внешнего мира, и именно внутри домашнего пространства мы стремимся создать условия «защищенности, комфорта, автономии, невмешательства, удовольствия»³⁴. Здесь, пожалуй, можно сказать, что наличие свободного пространства внутри дома и возможность уединиться, а также возможности по превращению своего дома в крепость — это вопрос денег и статуса; говоря иначе, это вопрос классовых различий. Очевидно, что дом состоятельного человека является более надежно «закрытым», то есть отгороженным от внешнего мира, чем комната в общежитии. Но и здесь мы можем наблюдать парадоксальную ситуацию: один и тот же человек, будучи отгороженным от своих соседей или случайных прохожих непреступными каменными стенами, оказывается «открытым» для многих других — в силу того, что он везде оставляет следы своего присутствия (на камерах слежения, в Интернете, на фотографических снимках, без которых не обходится практически ни одно событие в приватной или публичной его жизни), не говоря уж о биометрических паспортах и фотографиях его жилища, сделанных со спутника.

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что мы имеем дело с *новым режимом видимости*, который если и не упраздняет различие между приватным и публичным, то, во всяком случае, вынуждает нас радикальным образом переосмыслить эту дихотомию. Можно предположить, что сегодня водораздел между приватным и публичным может быть определен не столько через противопоставление активного/пассивного, общественного/индивидуального, частного/общего, сколько посредством категорий *видимого и невидимого, непосредственного и опосредованного (технологиями)* общения или контакта.

Используя мысль Поля Вирилио, мы можем наблюдать сегодня «эндоколонизацию лишнего интимности мира»³⁵. Доступ к мыслям другого человека (самое интимное, что может быть у каждого из нас) осуществляется сегодня мгновенно и

34 Е. Здравомыслова, А. Роткирх, А. Темкина. Там же. С. 11.

35 П. Вирилио. *Информационная бомба. Стратегия обмана*. Москва, 2002. С.49.

без насилия. Мы можем отследить любого, кто наведывался в пространство нашего дневника (если речь идет, например, о Живом журнале) или же увидеть, благодаря Скайпу или почтовому сервису Gmail, доступен человек в сети или нет в данный конкретный момент времени. Сплетня, означавшая в прежние времена наличие некоторой границы, отделявшей личную жизнь индивида от вмешательства со стороны социума, поскольку объектом сплетни являлась некая секретная зона, о которой можно только гадать и которая не должна была становиться предметом публичного обсуждения, как пишет Умберто Эко, в наше время создается и поддерживается медиасферой, она сообщается не шепотом, а громким криком, и узнает о ней не только жертва сплетни, но даже и те, кому это вовсе не интересно. Более того, благодаря телевидению, «жертва» рассказывает о себе сама публично, надеясь таким образом обрести статус поп-звезды или политической фигуры³⁶. Многие из нас знают, что самый лучший способ защитить свой секрет — это сделать его публичным: что может быть интересного в информации, которую никто и не думает скрывать? Публичные фигуры (политики, артисты, писатели, спортсмены) оказываются главными персонажами таблоидов, где все перипетии их личной жизни, содержимое их желудков (если они делятся секретами своей диеты), наличие целлюлита или отсутствие оно, перенесенные ими болезни, количество детей в браке и вне брака и пр. оказываются известными огромному количеству людей, однако особенность нашей культурной ситуации состоит в том, что благодаря «живым журналам» и «одноклассникам» своеобразную «звездность» (в смысле своей «доступности» и подотчетности всем и каждому) приобретают и ничем не примечательные люди, размещающие на своих страничках в Интернете все, что они желают сообщить «городу и миру», вплоть до самых интимных вещей, радостно отрицая тем самым собственное право на приватность. Действительно, для многих людей «мой мир» — это мир Интернета. Складывается впечатление, что сегодня приватность может иметь только живущий в деревенской глуши (желательно на хуторе, чтобы не было рядом любопытных соседей) и ничего не знающий

36 См.: U. Eco. *Turning Back the Clock. Hot Wars and Media Populism...* P. 83.

об Интернете человек (такие еще есть, хотя их количество стремительно уменьшается), но как только он или она оказывается в современном мегаполисе или транзитных пространствах, оснащенных современными камерами слежения и другими технологическими средствами, то этой «приватности» также приходит конец. Умберто Эко в своей книге о «горячих войнах» и медиа популизме пишет, что Интернет привел к тому, что мы добровольно отказываемся от нашей приватности, и в этом смысле, защита приватности сегодня невозможна, поскольку эксгибиционист не желает защищать свою приватность — то есть не вполне ясно, что и зачем нужно защищать³⁷, и это не столько вопрос юридических норм, сколько этических соображений.

Понятие «дома» (как локуса приватности) также существенно изменилось — в первую очередь потому, что имея дома телевизор (или компьютер), мы все оказываемся в некотором роде под одной крышей или в одном пространстве. А в силу того, что наиболее рейтинговые передачи на современном телевидении — это разнообразные ток-шоу эксгибиционистского характера (наподобие «Пусть говорят...»), то, соответственно, мы переживаем одновременно и вторжение (в наше личное пространство), и выставление другими людьми своей интимной жизни напоказ. Как пишет Поль Вирилио, телевидение обновляет таким образом понятие «единства проживания»: «Благодаря освещению в реальном времени, пространство-время места обитания оказывается потенциально связанным с пространством других людей, и страх выставить напоказ повседневную личную жизнь сменяется желанием предоставить себя взглядам всего мира»³⁸.

Некоторые выводы

Из всего вышесказанного вытекает, что приватность в СССР была невозможна — экономически, политически, дискурсивно, но при этом частная жизнь у советских граждан все же была. То, что ускользает от нашего понимания советской культуры сегодня, — это вопрос о том, как можно

³⁷ См.: U. Eco. Ibid. P. 82, 87.

³⁸ П. Вирилио. *Информационная бомба...* С. 50.

отказаться добровольно от частной жизни в пользу общественных интересов? Между тем, если при советской власти «приватность» была конфискована государством (или во многих случаях принесена в жертву добровольно в пользу коллективного проекта), то сегодня мы можем говорить о том, что утрата приватности, происходящая на наших глазах и с нами самими, с одной стороны, реализуется все в тех же модусах «принудительности» (камеры слежения в магазинах, на улицах, веб-камеры) и/или «добровольности» (феномен «Живого журнала» (ЖЖ) и другие формы виртуального эксгибиционизма), но эта «жертва» приносится отнюдь не в пользу коммунальности. Уместнее здесь было бы говорить об интересах частного капитала, для которого приватная жизнь каждого «потребителя» является неисчерпаемым ресурсом для создания прибавочной стоимости и для продвижения товаров (это отличительная особенность многих веб-сервисов, таких, как «Одноклассники» или «Мой мир»). Но, вообще говоря, те, кто сегодня отказывается от своей приватности добровольно (а не потому, что оказываются втянутыми в социальные «сети» помимо своего желания), тоже делают это преимущественно в целях self-promotion, например, делая доступными собственные портфолио для потенциальных клиентов или работодателей. Более того, многие пользователи Интернета используют логику рыночных отношений даже тогда, когда речь идет о дружеской коммуникации.

Таким образом, размышляя о современных трансформациях приватной сферы, мы можем сказать, что там, где государство сдало свои позиции, выиграл глобальный капитализм: реклама и другие ниши рыночной экономики воспользовались эффектами «депривации» в полной мере. Говоря «там», я имею в виду не геополитические пространства (в этом смысле у капитализма больше нет конкурентов, он везде), а скорее, под «там» я имею в виду механизмы регуляции социально-экономических отношений, которые находятся либо в руках государства, либо — частного капитала.

При этом, мне кажется, успех «социальных сетей» в постсоветском пространстве в немалой степени обусловлен и тем, что, не осознавая ностальгических настроений по коммунальному прошлому, постсоветские индивиды

испытали нечто вроде облегчения от возвращения к жизни в сообществе, «на виду у всех». Как отмечают Здравомыслова, Роткирх и Темкина применительно к другой проблеме, «разрыв с прошлым предполагает его невольное воспроизводство в новых условиях»³⁹.

Утрата приватности вовсе не обязательно должна трактоваться как утрата в негативном смысле. Можно было бы вспомнить здесь самые разные примеры: способы решения насилия в семье (которые Советская власть начала применять еще в 1920-е гг., при этом та же коммунальная квартира нередко выполняла функцию коллективного «защитника правопорядка» и умирения дебоширов) или же видеонаблюдение, как средство профилактики преступлений. К этому не стоит относиться меланхолично или ностальгически: в конце концов, «приватность» не универсально-исторический феномен, и даже в тех обществах, где можно говорить о приватности, как особой ценности, право на эту приватность всегда имели люди определенного пола, класса и социального статуса. Правда, новые коммуникативные технологии оказываются в этом смысле инструментом установления эгалитарного порядка: перед видеокамерой мы все в равной степени оказываемся беззащитны и, в этом смысле, равны.

39 Е. Здравомыслова, А. Роткирх, А. Темкина. Там же. С. 10.